

© 2010 г. В.М. АЛПАТОВ

КНИГА А. МЕЙЕ ГЛАЗАМИ НЕКОМПАРАТИВИСТА

В статье рассматриваются идеи выдающегося лингвистического труда начала XX в. – книга А. Мейе «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков». Показано, как А. Мейе подходит к своему объекту изучения, выявляются некоторые противоречия в его книге.

В статье речь пойдет только об одной, хотя и очень известной книге: монографии знаменитого французского языковеда Антуана Мейе (1866–1936) «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков», впервые изданной в Париже в 1903 г. и при жизни автора несколько раз переиздававшейся с дополнениями и исправлениями. Седьмое, последнее прижизненное издание книги вышло за два года до смерти автора, в 1934 г., оно легло в основу русского издания 1938 г. (у нас оно было уже третьим: до революции книга выходила дважды на основе более ранних изданий оригинала). Я позволю себе использовать лишь переводной текст 1938 г. и не сравнивать его с текстом оригинала: Д.Н. Кудрявский, первый переводчик книги, и А.М. Сухотин, переработавший в 30-е гг. его перевод и внесший в него изменения по последнему французскому изданию, были высококлассными специалистами и передали идеи книги вполне адекватно. Я буду учитывать также предисловие М.В. Сергиевского и комментарии Р.О. Шор: они отмечены печатью времени, в том числе влиянием марризма, однако в них, особенно в комментариях, есть и немало существенных положений. Далее ссылки на издание 1938 г. будут даваться с указанием только номеров страниц.

Книга А. Мейе хорошо известна специалистам и многократно ими использовалась и оценивалась. Однако хочется посмотреть на нее под необычным углом зрения. Областью исследований А. Мейе была компаративистика, тематика книги четко обозначена в ее заглавии. Время от времени автор затрагивает и проблемы, выходящие за рамки индоевропеистики, о чем далее будет сказано, но о них говорится лишь попутно, для лучшего освещения тех или иных компаративных вопросов (автор указывает в предисловии (31), что его книга «не есть сочинение по общей лингвистике»). И все-таки представляется, что книга интересна не только своим анализом конкретных фактов истории индоевропейских языков или мнениями автора по поводу тех или иных реконструкций, но и как сочинение, отражающее определенную теоретическую концепцию, позволяющее получить представление об одном из этапов развития мировой лингвистической мысли в целом. Поэтому автор статьи, не являющийся компаративистом, счел возможным рассмотреть книгу А. Мейе с точки зрения теории языка и истории языкознания. Я не буду оценивать конкретные реконструкции А. Мейе и его мнения о конкретных реконструкциях других исследователей.

В начале книги А. Мейе предупреждает, что читатели, знакомые с индоевропеистикой, «не найдут в ней ни новых идей, ни новых фактов» (31). Это утверждение на самом деле верно лишь с точки зрения фактов, а новых идей в книге немало. Но действительно книга во многом подводит итоги развития сравнительно-исторического языкознания почти за столетие. К 1903 г. грандиозное здание индоевропеистики в основном уже было возведено, и книга стала как бы путеводителем по этому зданию, предназначенным для желающих его посетить.

Очень многое из того, что содержится в книге, сохраняет силу для сравнительно-исторического языкознания и сейчас. Конечно, за прошедшее столетие наука продвинулась вперед и в знании фактов, и в методах. Если говорить только об индоевропестике, то главным расширением фактического материала за XX в. стало открытие двух ветвей индоевропейской семьи – хеттской и тохарской. Произошло это еще в начале века, в историческом промежутке между появлением первого и седьмого изданий книги А. Мейе. Однако в предисловии к седьмому изданию автор, сославшись на то, что «размещение хеттских и тохарских фактов в общей сравнительной грамматике индоевропейских языков еще не достигнуто» (36), отказался от учета материала этих языков (в тексте встречаются лишь отдельные их упоминания). В области методики главным приобретением XX в. стало появление в середине века метода глоттохронологии, в связи с чем устарело такое высказывание А. Мейе: «За отсутствием всяких письменных документов, нет никакого средства определить, с точностью до нескольких столетий, время разделения индоевропейских диалектов» (108). Глоттохронология, в наши дни широко используемая, стала таким средством. Устарело и такое положение: «Доказательны совпадения грамматических форм; наоборот, совпадения в лексике почти не имеют доказательной силы» (69). Оно отражало традицию, шедшую от начального этапа компаративистики и имевшую основания в истории индоевропейской семьи. Однако компаративное изучение языков иных семей, где нередко вовсе нет «совпадения грамматических форм», и использование метода глоттохронологии, примененного именно к лексическим единицам, привели к сосредоточению внимания на совпадениях в базисной лексике. Наконец, ностратика уже во второй половине века по-новому поставила вопрос о более древних, чем индоевропейское, языковых состояниях, время от времени затрагиваемый у А. Мейе. Но главное к 1903 г. уже было сказано, и все сказанное хорошо представлено в книге.

Сравнительно-историческое языкознание до А. Мейе уже прошло несколько этапов развития, охарактеризованных им самим в книге, которая завершается «Очерком развития сравнительной грамматики» (445–471). Помимо постепенной шлифовки метода шло и развитие теории, пусть не столь богатой, как метод. Уже во второй половине XIX в. [по мнению А. Мейе (458), около 1875 г.] все признали, что «сравнительная грамматика индоевропейских языков не бросает ни малейшего света на первые ступени языка» (81), вопреки тому, что думали основатели компаративистики. Развитие языков в «доисторическую» эпоху стало пониматься на основе экстраполяции процессов, зафиксированных на основе письменных данных: «Мы вправе предположить, что это распространение (индоевропейских диалектов. – В.А.) совершалось теми же путями, какие мы наблюдаем в историческую эпоху» (106). А «если когда-либо будет установлен и доказан ряд соответствий между индоевропейской и другими языковыми группами, в системе ничего не изменится... Мы проникнем на одну ступень глубже..., но метод останется тем же» (72). Такая экстраполяция, вообще говоря, ничем не доказана и основывается только на здравом смысле: иные предположения могут привести лишь к недоказуемой фантастике (пример – Н.Я. Марр). В 1903 г. об этом уже не спорили. В центре теоретических споров ученых в эпоху младограмматиков и А. Мейе встали три других вопроса: о реальности праязыка, о закономерностях развития языковых семей (гипотеза родословного древа) и о понятии языкового закона.

Понятие праязыка (языка-основы), из которого в ходе исторического развития выделяются родственные друг другу языки, наиболее четко было сформулировано в 50-е гг. XIX в. А. Шлейхером, который первым начал систематически восстанавливать индоевропейский праязык. Прямолинейный натуралистический подход при быстром достижении заметных результатов привел этого ученого к «головокружению от успехов»: А. Шлейхер всерьез решил, что восстановил реальный индоевропейский праязык, и написал на нем басню. Следующее поколение компаративистов – младограмматики – уже понимало, что полное восстановление праязыка невозможно, но А. Мейе отошел от идей А. Шлейхера еще радикальнее. Несколько раз в книге повторяется положение, в котором ее автор был оригинален и которое потом неоднократно обсуждалось. Уже в

предисловии он предупреждает: «Эта книга не представляет... грамматики индоевропейского языка: он неизвестен, и соответствия между отдельными языками представляют единственное реальное явление, которым занимается сравнительная грамматика... Еще менее имеет в виду сравнительная грамматика объяснять индоевропейский язык: ни один из известных методов не дает для объяснения индоевропейского языка ничего кроме недоказуемых предположений» (32). И далее: «Задача сравнительной грамматики какой-либо группы языков заключается в изучении соответствий, представляемых этими языками» (48). «Единственная реальность, с которой она (сравнительная грамматика индоевропейских языков. – В.А.) имеет дело, это *соответствия между засвидетельствованными языками*» (73). О восстановлении звуков праязыка сказано: «*Положительными фактами являются только соответствия, а "восстановления" сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия*» (74).

Такой, безусловно, крайний взгляд был законченным выражением позитивистского подхода, стремившегося далеко не отходить от достоверных фактов и избавлявшегося от недоказуемых положений. Младограмматики также были позитивистами, но все-таки сохраняли убежденность в том, что они, пусть не полностью и не во всем точно, но восстанавливают реальные факты. В то же время у А. Мейе не содержится никаких сомнений в самом факте существования индоевропейского праязыка. Идея о том, что сходство индоевропейских языков может иметь не генетическое, а какое-то иное (типологическое или ареальное) происхождение, к моменту написания книги еще, кажется, никем не предлагалась. Однако в 30-е гг. ее выскажет Н.С. Трубецкой, а в комментариях к изданию 1938 г. в пользу типологического понимания индоевропейской общности высказалась (по-видимому, без влияния Н.С. Трубецкого) Р.О. Шор (503).

Но понимание праязыка как системы соответствий, а его звуков как сокращенного обозначения этих соответствий объективно входило в противоречие со всей выработанной методикой сравнительно-исторического анализа. При последовательном осуществлении данного принципа в области фонетики анализ сводился бы к таблицам соответствий и их условным наименованиям. Например, на с. 131 приводится таблица соответствий для согласных сонантов, среди них есть такое: санскритское *v* – авестийское *v* – армянское *g*, *v* – литовское *v* – славянское *v* – латинское *u* – ирландское *f* – готское *w*. Как можно было бы сокращенно обозначить это соответствие? Вероятно, двумя наиболее естественными обозначениями могли бы быть порядковый номер (скажем, 2: в таблице соответствие стоит вторым) и наиболее частый из соответствующих звуков, в данном случае *v*. Но в первой колонке стоит: «индоевропейское *w*», что никак не может считаться сокращенным знаком. В тексте книги дается обоснование того, что данные звуки могли произойти именно от *w*, сохранившегося лишь в одном из сравниваемых языков. Но ведь ранее сформулированный в книге принцип не позволяет так рассуждать: автор здесь выходит за пределы системы соответствий и начинает рассуждать о фактах языка, уже объявленного неизвестным. Но так построена вся глава о фонетике: она начинается словами: «Фонетическая система индоевропейского языка состояла из трех видов фонем» (109). То есть с первой строки идут рассуждения о неизвестном языке. Оставаясь в пределах системы соответствий, мы тем более не можем рассуждать о том, чего в праязыке не было, а это тоже есть у А. Мейе (111 и др.). И заключительная фраза главы: «Фонетический облик индоевропейского ничуть не походил на облик любого из современных представителей индоевропейской семьи языков» (165). Как можно сделать такой вывод из системы соответствий? Выходит, что язык неизвестен, но его фонетический облик мы знаем.

Еще более явно нестыковка между теорией и методикой видна в главах о морфологии и особенно синтаксисе, где весь индоевропейский материал излагается так, как можно говорить лишь о реальном языке: «Индоевропейское слово содержит... три части: *корень, суффикс и окончание*» (167); индоевропейский «*порядок слов имел экспрессивное, а не синтаксическое значение*» (369) и т.д. Безусловно, речь во всей книге идет о языке, а не только о системе соответствий, которая для морфологии у А. Мейе выделяется не везде, а для синтаксиса не выделяется в эксплицитном виде. Соответ-

ствия в обычном смысле всегда устанавливаются между некоторыми «квантами» языка, которые естественно выделяются в фонетике и лишь частично в морфологии, а синтаксические кванты наука времен А. Мейе просто не умела выделять (что-то в этом роде появилось лишь у генеративистов). Весь раздел о предложении при последовательном проведении теоретических положений книги просто не мог бы существовать. Очевидно, что стремление отойти от «метафизики» и держаться на твердой почве фактов, доведенное до конца, потребовало бы сильно ограничить объект компаративистики и выбросить за борт значительную часть позитивных результатов, ею достигнутых.

Отмечу и позицию Р.О. Шор в комментариях. Она верно отметила, что А. Мейе «избегает термина и понятия “праязык”» (489), но все время вынужден к нему возвращаться, однако сделала из этого противоречия вывод, явно навеянный концепциями Н.Я. Марра, хотя не вполне совпадающий с ними: «предстоит отказаться от понятия “праязыка”» (503), но соответствия между индоевропейскими языками реальны, поэтому А. Мейе следовало бы последовательнее выдержать его теоретические предпосылки. Тем самым Р.О. Шор, исходя вовсе не из позитивизма, оказывается еще более крайним представителем подхода, декларированного А. Мейе.

Не избегал французский ученый и «объяснения индоевропейского языка». Для него объяснением тех или иных явлений было выявление их происхождения (к этому вопросу я еще вернусь). То есть на гипотезы о том, что было до индоевропейского праязыка, наложен запрет. Однако по ходу дела А. Мейе неоднократно его снимал. Вот пример: «В индоевропейском многие основы состояли из одного только корня; тем самым проглядывает древнее состояние языка, когда каждый корень мог служить основой, не будучи снабжен суффиксом» (171). Или: «Однако сквозь индоевропейский тип, столь законченно флективный, можно обнаружить существование более раннего типа с мало или вовсе не изменяющимися формами» (208); далее указывается на имеющиеся в известных нам языках реликты такого типа. На с. 427 А. Мейе снова говорит о «доиндоевропейском типе без словоизменения или с малоразвитым словоизменением». То есть, отказываясь в предисловии от «недоказуемых предположений», автор в дальнейшем тексте книги вовсе их не избегает.

Противоречие между стремлением не выходить за пределы позитивных фактов и желанием рассмотреть весь комплекс вопросов, исследуемых индоевропеистикой, видно и в других случаях. Несколько раз в книге декларирован отказ от рассмотрения вопросов, связанных с жизнью индоевропейцев. «Мы также воздержались от того, чтобы примешивать к точным проблемам и достоверным результатам лингвистики темные вопросы о расе, религии и обычаях народов индоевропейского языка: эти вопросы не могут быть с успехом исследуемы при помощи тех же или аналогичных методов, как вопросы сравнительной грамматики» (32). «Неизвестно, ни где, ни когда, ни кто говорил на языке, из которого развились исторически засвидетельствованные языки и который условно называют индоевропейским» (107). «Выражение “индоевропейские... народы” лишено смысла» (108). «Очень неопределенны и шатки... те данные, которые представляется возможным извлечь из рассмотрения индоевропейских корней с целью выяснить условия существования племен, говоривших на индоевропейском языке» (389). Но сразу же эти «неопределенные и шаткие» данные начинают рассматриваться и появляются высказывания вроде: «Смысловая неопределенность и малочисленность засвидетельствованных названий растений составляют резкий контраст с определенностью значения и обилием терминов для животных; отсюда можно сделать вывод, что “мясо” диких и домашних животных... составляло вместе с молоком... важнейшую часть пищи индоевропейцев» (399). А в последней главе книги А. Мейе шел еще дальше, например: «Политическое состояние древнего индоевропейского мира надо себе представлять по образу самостоятельных греческих городов, а не по образу единого ахеменидского государства» (416). Оказывается, что об обычаях говорить нельзя, а о «политическом состоянии» можно. Индоевропейские народы то выделяются, то нет. На эти противоречия обратила внимание в комментариях Р.О. Шор (502). Правда, ино-

гда А. Мейе последователен, например, в отказе от выделения индоевропейской расы (не влияли ли здесь его довольно левые политические взгляды?).

А. Мейе в теории – очень осторожный автор. Он постоянно выражает скептицизм по поводу возможности куда-либо двигаться, когда нет опоры на достаточно многочисленные данные письменных памятников или живых диалектов. Он, например, пишет, что хотя во французском языке есть бесспорные индоевропейские реликты, но «без знания латыни и средневекового французского языка... “индоевропейское” качество французского языка... не было бы непосредственно доказуемо» (71). А. Мейе, не отрицая возможности древнего родства индоевропейских языков с какими-то другими, считал, что об этом мы не можем что-либо говорить, пока «между индоевропейской грамматикой и грамматиками иных языковых групп не будут обнаружены совпадения более отчетливые и более многочисленные» (71). Однако как установить критерии отчетливости и многочисленности? И сейчас этот вопрос вызывает споры, например, между сторонниками и противниками ностратики. Показательно и скептическое отношение А. Мейе к данным этимологии: «Мало значения имеет этимология не очевидная, а только вероятная» (437). Но все ли приводимые им свои и чужие этимологии очевидны?

Итак, в книге постоянно наблюдается противоречие между последовательно позитивистским стремлением избегать недоказуемых предположений и желанием отразить в итоговой книге все разнообразие проблем, изучавшихся индоевропеистикой XIX века. А вопрос о реальности индоевропейского праязыка – один из «вечных» вопросов компаративистики. «Вопрос о том, как соотносится праязык, выявленный с помощью определенных технических приемов (назовем его *праязыком 1*), с реальными коммуникативными системами прошлого (именуются автором цитаты *праязыком 2*. – В.А.), далеко не прост» [Беликов 2006: 14]. Но как бы ни понималось соотношение праязыка 1 и праязыка 2, теоретический подход А. Мейе, по крайней мере в нашей стране после 1950 г., не принят. Он считается слишком крайним, но главное в том, что он настолько сужал проблематику и возможности компаративистики, что сам автор книги не смог им последовательно пользоваться.

Если вопрос о реальности праязыка занимает большое место в книге А. Мейе, то другой ключевой вопрос – о расхождении и схождении (дивергенции и конвергенции) языков – затрагивается намного меньше, а теоретические споры по нему, к 1903 г. достаточно интенсивные, обойдены. В разделе книги А. Мейе «Очерк развития сравнительной грамматики» «теория волн», традиционно связываемая с именем И. Шмидта, и допущение смешения языков у Х. Шухардта не упомянуты, а исследования этих ученых трактуются с позиций ортодоксальной компаративистики: как выявление заимствований из одних индоевропейских языков в другие (465).

Ключевое положение компаративной теории было постулировано А. Шлейхером, оно заключается в том, что языковые семьи и группы распадаются на отдельные языки, но скрещение (смешение) языков невозможно. Это положение часто называется принципом родословного древа (термин, отсутствующий у А. Мейе). Логическое следствие из него – однозначность отнесения каждого языка или диалекта к семье и группе языков. На этом постулате основано все сравнительно-историческое языкознание, однако далеко не все ученые были с ним согласны; в эпоху, когда работал А. Мейе, его критиковали, в частности, Х. Шухардт и И.А. Бодуэн де Куртэнэ. Об этих спорах автор данной статьи уже писал [Алпатов 2006]. А. Мейе считал, что уже к 1880 г. переиздание работ А. Шлейхера «имело бы только исторический интерес» (466), но по данному ключевому вопросу исходил из того же постулата А. Шлейхера.

Отсюда само определение родства у А. Мейе: «Два языка называются родственными, когда они оба являются результатом двух различных эволюций одного и того же языка, бывшего в употреблении раньше... Понятие родства языков абсолютно и не допускает различных степеней» (50–51). Вопрос о возможности отражения в языке эволюции двух языков-предков даже не рассматривается (если бы такая возможность была признана, то сразу бы встал вопрос и о степенях родства).

Впрочем, и здесь у А. Мейе не всегда все ясно. Как известно, противники родословного древа наиболее охотно апеллируют к пиджинам и креольским языкам, в начале XX в. еще мало изученным (подробнее см. [Беликов 2006: 57–64]). Упоминает про них и А. Мейе, отмечая: «Креольские наречия сохранили черты африканских языков» (58). При этом, однако, он не указывает, как это сохранение связано с генетической принадлежностью языка, хотя несколькими строками выше он указывает, что речь идет о «неграх-рабах, которые стали говорить по-французски или по-испански» (57), то есть эти наречия входят в романскую семью. Однако какое место занимают эти наречия в сравнительной грамматике романских языков, остается неясным (этот вопрос спорен и в современной науке).

Однако в отношении диалектов позиция А. Мейе оказывается не такой, как в отношении языков. «Когда язык развивается на сплошной территории, можно заметить, что те же самые новшества и те же самые черты старины наблюдаются независимо друг от друга в более или менее обширных областях. Так возникают *диалекты*. Говоры областей, соседних друг к другу, развившиеся в одинаковых условиях, представляют и общие особенности... Эти факты представляют явления совершенно иного порядка сравнительно с фактами, характеризующими родство языков» (51). В другом месте книги: «Все более и более обнаруживается, сколь далеки от реальности попытки объяснить факты данного говора, исходя из наивного предположения, что этот говор развился путем непрерывной передачи индоевропейского языка от поколения к поколению вплоть до исторической эпохи» (470). Но гипотеза родословного древа в чистом виде как раз и исходит из такой передачи. Несомненно, А. Мейе исходил из результатов, полученных Ж. Жильероном и другими авторами первых лингвистических атласов, на которые ссылается. Но ведь разграничение языка и диалекта не всегда легко провести. Сам А. Мейе писал: «На практике не всегда возможно отличить эти диалектальные черты сходства от тех, которые объясняются собственно родством языков, т. е. единством отправной точки» (51).

Итак, не отказываясь в теории от родословного древа, А. Мейе отходил от прямолинейности А. Шлейхера, что отмечает М.В. Сергиевский (17). Если так можно выразиться, ученый сохраняет древо на макроуровне и отказывается от него на микроуровне. И так ведь поступает современная компаративистика: при установлении дальнего родства ученые строго держатся принципа родословного древа, без следования которому здесь вряд ли можно было бы вообще чего-то добиться, зато для диалектов и близкородственных языков (и для пиджинов?) допускаются конвергенции.

Наконец, третий теоретический вопрос, пожалуй, более всего обсуждавшийся в момент первого издания книги А. Мейе, был связан с понятием закона. Оно также было введено А. Шлейхером, затем подхвачено младограмматиками, но Х. Шухардт и др. выступили с критикой. А. Мейе принимает это понятие, но исходя из общего подхода, пишет: «Что обычно называется “фонетическим законом”, это, следовательно, только *формула регулярного соответствия* либо между двумя последовательными формами, либо между двумя диалектами одного и того же языка» (64); аналогично на той же странице трактуется и морфологический закон. И далее говорится о «принципе постоянства фонетических законов», который «оказался плодотворен» сразу в нескольких отношениях (464). Говоря о спорах относительно понятия закона, А. Мейе со свойственной ему во всем осторожностью пишет: «Теоретическая его ценность сможет быть окончательно определена лишь тогда, когда точная природа и причины различных фонетических изменений будут установлены с учетом всей их сложности и всего их разнообразия» (460). И далее, указывая, что принцип фонетического закона «в целом оказался, ... безусловно точным в применении ко многим случаям из ряда наиболее важных», ученый признает его «всегда пригодным в качестве методологического руководства» (460). «Работы, не соблюдающие систематически этого принципа, не заслуживают внимания» (460). То есть автор книги оставляет вопрос об онтологической природе фонетических законов открытым, и у А. Мейе немало говорится об исключениях из законов и причинах этих исключений (61–63), но для компаративиста важнее другое. Закон

имеет всеобщую силу как методическое правило (именно из-за несоблюдения этого правила А. Мейе никогда не принимал построения Н.Я. Марра во всех их вариантах). Так понимает закон и современная компаративистика.

Это, пожалуй, все теоретические вопросы компаративистики, рассматриваемые в книге. Значительно больше места в ней, естественно, занимает изложение на многих примерах действительно замечательного сравнительно-исторического метода. Я не буду на этом останавливаться подробно, хочется лишь отметить, что и здесь у А. Мейе можно видеть постоянное противоречие, но уже не между строгими теоретическими принципами и стремлением отобразить все достижения индоевропеистики, а между строгостью методики и реальной изученностью тех или иных процессов.

Один из главных методических принципов индоевропеистики, общепризнанный с XIX в. и в полной мере принимаемый А. Мейе, заключается в ступенчатости реконструкций. Нельзя прямо сопоставлять, скажем, французский язык и маратхи, надо сначала восстановить праязыки для отдельных групп, а потом уже их сравнивать между собой. Однако во всей книге этот принцип постоянно нарушается, разумеется, не столь прямолинейно, как в приведенном выше искусственном примере. Например, во всей объемистой книге я не нашел ни одного примера из праславянского языка. Почти всегда, когда речь заходит о славянской ветви индоевропейских языков, приводятся примеры из языка, названного в русском издании книги древнеславянским, но чаще именуемого у нас старославянским. Изредка и не систематически приводятся примеры и из современных славянских языков, в том числе из русского. Но хотя старославянский – древнейший из известных по письменным текстам славянских языков, он не был праязыком, а большинство славянских языков не являются его потомками, что, разумеется, было хорошо известно А. Мейе. Среди балтийских языков в книге более всего упоминается литовский по причине своей архаичности, иногда приводятся примеры из древнепрусского языка, но полностью проигнорирован латышский язык и нет примеров реконструкций балтийского праязыка. В книге, разумеется, разграничены понятия «италийские языки» и «романские языки», но поскольку об италийском праязыке ничего не сказано, а оскские и умбрские примеры эпизодичны, то реально в качестве праязыка всей этой ветви выступает классическая латынь, не являвшаяся, строго говоря, ни романским, ни италийским праязыком. Сходная ситуация в книге и по другим ветвям.

Безусловно, такое противоречие не было особенностью самого А. Мейе. Оно существовало в науке со времен А. Шлейхера, который, желая поскорее дойти до индоевропейского праязыка, шел по самому простому, хотя методологически небезупречному пути, сравнивая реально засвидетельствованные языки разных групп. Единственным ограничением для него была относительная хронология: для каждой ветви он брал древнейший из известных языков. Если нам известна классическая латынь, то можно было не привлекать данные романских языков, зато для балтийской ветви пришлось использовать литовский язык с поздней письменной традицией. Для А. Шлейхера восстановление древнейшего праязыка было самоцелью, но и для следующих поколений компаративистов, казалось бы, естественное с точки зрения их же строгой методики ограничение – сначала заняться праязыками для отдельных групп и только потом начать восстанавливать праязык для всей семьи – никогда не действовало. Это сохраняется и у А. Мейе, для которого главный исследовательский интерес представлял всего один из множества праязыков, но как раз такой, для реконструкции которого необходима была максимальная подготовительная работа, далеко не во всем сделанная к началу XX в.

Мне однажды пришлось слышать, как японист, занявшийся родственными связями своего языка, отвечая на совет строго соблюдать ступенчатый принцип, сказал: «Говорят, что надо делать на первом шагу, что – на втором и так далее. И самое интересное остается на конец, а я уже немолод». Разумеется, индоевропеисты рассуждают не столь прямолинейно, но проблема остается (конечно, многое здесь связано с недостатком материала по многим группам и подгруппам). Исторически проблема индоевропейского праязыка была поставлена раньше, чем проблемы более поздних праязыков, а ученые

редко отказываются от рассмотрения интересной проблемы, осознав преждевременность ее постановки. Конечно, понимание праязыка лишь как системы соответствий снимает данную проблему: мы вправе установить соответствия между любым множеством языков, где такие соответствия обнаруживаются. Достаточно выделить соответствия для литовского и старославянского, потом можем к ним добавить санскрит, латышский и русский или только санскрит, а можем и не добавлять. Но, как отмечено выше, А. Мейе все же приходит к восстановлению реального праязыка, а как влияет на его восстановление не только малый учет хеттского и тохарского материала, но и фактическое игнорирование данных восточнославянских, западнославянских, латышского и многих других языков? Не будучи компаративистом, не берусь решать этот вопрос. Отмечу лишь еще раз, что эту претензию следует предъявлять не одному А. Мейе, а всей традиции индоевропеистики.

Еще одной чертой подхода А. Мейе, также свойственной не только ему, является прямой перенос на праязык явлений, зафиксированных в древнейших из известных нам индоевропейских языков. Такая экстраполяция проявлялась, прежде всего, там, где выработанные в XIX в. методы не действовали. Выше уже приводилась формулировка А. Мейе: «Фонетический облик индоевропейского ничуть не походил на облик любого из современных представителей индоевропейской семьи языков». Так можно было говорить, поскольку этот фонетический облик мог реконструироваться достаточно детально. Конечно, всегда можно спорить о том, насколько здесь реконструированный «праязык 1» соответствует реальному «праязыку 2», но «праязык 1» здесь – конструкт, который принципиально не отличается от конструктов, построенных на базе реальных языков; полученную фонологическую систему (пусть А. Мейе не пользовался этим термином) можно сравнивать с любой другой. Однако в морфологии методы индоевропеистики могли дать лишь фонетический облик некоторых аффиксов и служебных элементов, а система в целом им не поддавалась, для синтаксиса же методов не было. Однако уже ко времени первого издания книги ученые стремились выйти за пределы фонетических соответствий, не имея здесь не только теории, но и метода. Выход А. Мейе находил в экстраполяции данных письменных языков.

Уже на первой странице главы «Принципы морфологии» А. Мейе, отмечая наличие в греческом и латинском языках категорий числа и падежа, пишет: «Греческий язык в этом отношении, равно как и латинский, *с точностью* (курсив мой. – В.А.) воспроизводит положение вещей, бывшее в индоевропейском» (166). Однако даже если мы возвели все греческие и латинские падежно-числовые показатели к праязыковому состоянию, что даст нам основание говорить, что они там так же соотносились друг с другом и имели в точности те же значения, что в греческом и латинском?

Еще более явная экстраполяция видна в главе «Предложение» (359–380), самой короткой в книге. Уже тот факт, что в ней А. Мейе избегает реконструируемых примеров, зато приводит много примеров из известных языков, отстоящих от праязыка достаточно далеко, показывает, что подход здесь резко отличен от подхода в предыдущих главах. Заметно и то, что в главе по сравнению со всеми остальными резко ослаблен сравнительный принцип: подавляющее большинство примеров, в том числе все текстовые, приводятся из древнегреческого языка. Сравнения, если и проводятся, то в плане эволюции отдельных языков и групп: сопоставляются язык Гомера с классическим греческим, латынь с ее потомками, но не выявляется, где к индоевропейскому ближе греческий синтаксис, а где латинский и т.д. То есть синтаксис изучается либо чисто синхронно, либо исторически на базе изучения письменных текстов, но не сравнительно-исторически, а синхронный анализ в данном случае действительно неизвестного языка подменяется анализом известного – древнегреческого – языка.

Экстраполяция видна и в других случаях: «Каждый из индоевропейских говоров надо представлять себе вроде какого-нибудь современного литовского говора, бедного общими понятиями и изобилующего точными названиями конкретных действий и мелочей домашнего обихода» (385). Ср. с этим уже отмечавшийся скептицизм А. Мейе в отношении этимологического материала, если он не очевиден, хотя к моменту написа-

ния книги школа «слов и вещей» уже показала, что как раз «названия мелочей домашнего обихода» в истории языков часто бывают очень изменчивы.

Безусловно, и здесь А. Мейе отражал состояние науки своего времени. Строгий сравнительно-исторический метод, как отмечали и критики компаративистики (см., например, [Шор 1931: 404]), охватывал не все уровни языка, дав плодотворные результаты для самого простого уровня – фонетического, лишь частично захватив морфологию и не распространившись на синтаксис и семантику (впоследствии то же самое получилось и со структурными методами). Но науке свойственно, так или иначе, пытаться исследовать все. Для синтаксиса, семантики и отчасти морфологии во времена А. Мейе возможны были два пути: либо выдвижение не подтвержденных фактами гипотез, либо экстраполяция исторически наиболее близких данных. А. Мейе как последовательный позитивист избрал второй путь, стараясь, по возможности, исходить из древнейших данных, предпочитая ведийский, гомеровский, авестийский материал латинскому или германскому (211 и др.). Но все равно между праязыком и древнейшими письменными языками зазор слишком велик.

Такая экстраполяция по сути не отличалась от вышеупомянутой экстраполяции принципиальных свойств известных языков на реконструируемые праязыки. Только в последнем случае такой подход был в высшей степени разумен для того времени: к строю «первобытных языков» наука не подступилась и сейчас. А изучение строя одного языка на основе текстовых примеров из другого, пусть родственного языка все же логически уязвимо. И в отличие от проблемы происхождения языка исследование индоевропейского синтаксиса с тех пор продвинулось. Скажем, сейчас уже вряд ли можно говорить, что порядок слов в праязыке «имел экспрессивное, а не синтаксическое значение» и «относился к области риторики, а не к области грамматики» (369). Раздел о синтаксисе – один из самых устаревших в книге.

Но книга А. Мейе затрагивает не только чисто компаративную тематику. Она отражает и определенный этап в развитии общелингвистической теории. В момент выхода ее первого издания большинству лингвистов еще казалось, что лингвистика – чисто историческая наука, а сравнительно-исторический метод – единственный подлинно научный метод; теорию языка они не рассматривали вообще или сводили к обсуждению общих вопросов компаративистики. Не все с этим согласны были и в 1903 г., но тогда эта точка зрения господствовала, зато к 1934 г., когда А. Мейе последний раз переработал книгу, она уже не считалась передовой: сложился структурализм. А. Мейе не мог это не учитывать, тем более что его непосредственным учителем был основатель структурализма Ф. де Соссюр, которому он еще в первом издании посвятил свою книгу.

Сложилась парадоксальная ситуация: Ф. де Соссюр был учителем А. Мейе, по возрасту Ф. де Соссюр был на девять лет старше, но в истории науки А. Мейе воспринимается как ученый более ранней эпохи. В наиболее крайнем виде такую точку зрения выразил в предисловии ко второму русскому изданию соссюрковского «Курса» А.А. Холодович. Говоря о признании учеными XX в. дихотомии синхронии и диахронии, он писал: «Печальным исключением является ближайший ученик Соссюра А. Мейе, отвергавший этот тип дихотомии начисто..., стоя в этом отношении на позициях младограмматиков XIX в.» [Холодович 1977: 24].

Отчасти такая характеристика верна. Под рядом высказываний А. Мейе могли бы подписаться и младограмматики. Например, «Грамматик, изучающий какой-либо индоевропейский язык, если он не знает сравнительной грамматики, должен ограничиться простым констатированием фактов, не пытаясь вовсе давать им объяснения, так как иначе он рискует объяснять причинами, лежащими в данном языке, и его особенностями такие факты, которые древнее этого языка и происходят от совершенно других причин... Грамматик вправе не знать сравнительной грамматики только в том случае, если он способен ограничиться простым наблюдением голых фактов, никогда не делая попытки их понять» (32–33). Это достаточно похоже на идеи Г. Пауля, делившего науку о языке на описательную и историческую. Оба считали, что объяснение изучаемых

фактов языка должно быть историческим, хотя Ф. де Соссюр показал, что это не единственный вид объяснений.

Поскольку «объяснить исторически какую-либо форму можно только другою, более древнею формою» (81), то «исторически объяснять индоевропейский язык мы будем в состоянии только тогда, когда будет доказано его родство с другими языковыми семьями, когда таким образом окажется возможным установить системы соответствий и при их помощи составить себе представление о доиндоевропейском периоде» (81). И все, что говорится в книге о праязыковом периоде, исключая предварительный этап реконструкции и последующую верификацию через сравнение с более поздними языками, является синхронным анализом. Задолго до появления книги образец такого подхода дал учитель ее автора в раннем труде «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» (посвящение Ф. де Соссюру в первом издании книги было приурочено к двадцатипятилетию выхода «Мемуара»), пусть там еще не было эксплицитных понятий синхронии и диахронии. Книга Ф. де Соссюра высоко оценивается и в историографическом очерке, как за новое объяснение ряда фактов, так и за общий подход: она «была новым словом, ...благодаря ей возникала стройная система, обнимающая все факты, ставящая на свое место факты уже известные и вскрывающая множество новых. С этого времени непозволительно стало в каком бы то ни было вопросе пренебрегать тем положением, что каждый язык образует систему, где все между собою связано и подчинено весьма строгому общему плану» (464). Но именно в этом заключалось новаторство Ф. де Соссюра, и именно за это его книгу не приняли младограмматики, см. [Зализняк 1977].

Но в издании 1934 г. упоминается не только «Мемуар», но и «Курс общей лингвистики» (в 1903 г. еще не существовавший). Именно к нему А. Мейе отсылает «читателей, интересующихся общей лингвистикой» (31). Он считает себя обязанным учителю в усвоении и воспроизведении его «точной систематичности и строгого метода» (34). Среди повлиявших на него идей Ф. де Соссюра (вероятно, усвоенных А. Мейе от учителя еще в студенческие годы) чаще всего упоминают тезис о коллективном и социальном характере языка: «Язык существует лишь постольку, поскольку есть *общество*, и человеческие общества не могли бы существовать без языка» (52); «Те же ассоциации навязаны всем членам группы с такой силой, какой не знает никакой иной социальный институт» (52). В связи с этим Р.О. Шор отнесла обоих лингвистов вместе с Ж. Вандриесом и Ш. Балли к «социологической школе в языкознании», об этом пишет и М.В. Сергиевский (17). Термин закрепился в СССР, но показательно, что В.А. Звегинцев, сохранив его в отношении А. Мейе, исключил из этой школы Ф. де Соссюра. Есть и другие сходства. Положение А. Мейе: «Между понятиями и словами, взятыми в какой-либо момент развития того или другого языка, нет никакой необходимой связи» (49) соответствует принципу произвольности знака у Ф. де Соссюра. Похож А. Мейе на учителя и в тех нечастых случаях, когда тот сходился с младограмматиками, например, в понимании языковых изменений как непрерывных и бессознательных (54), а также в сохранении психологизма (см. в вышеприведенной цитате термин «ассоциации»), хотя у обоих его меньше, чем у младограмматиков, исходивших из индивидуальной психики.

Наконец, в самом конце книги А. Мейе, отчасти вразрез с некоторыми другими ее местами, пишет: «Оттолкнувшись в начале XIX в. от общей грамматики, лингвистика теперь возвращается к постановке общих вопросов. Научная лингвистика долгое время отождествлялась с общей лингвистикой; история языков в настоящее время уже настолько изучена, что становится необходимым заново устанавливать общие принципы... Нынешняя общая лингвистика, опирающаяся на исследование фактов прошлого и настоящего, стремится выяснить не то, как образовался язык, как впервые возникли грамматические формы, но в каких условиях, согласно каким законам – либо ограниченным в пространстве и во времени, либо постоянно действующим – наблюдаемые факты сосуществуют и сменяются один другим» (471).

В этой цитате нет терминов «синхрония» и «диахрония», но она показывает, что А.А. Холодович был не вполне прав. А. Мейе принимал идеи своего учителя, даже

идею о синхронии и диахронии, просто тематика его книги соответствовала канонам прежней эпохи, тогда как новые идеи и методы тесно связывались и со сменой приоритетов в тематике, на что А. Мейе уже не мог пойти. И книга стала завершением одного из этапов в развитии мировой лингвистики, хотя ее автор, в отличие, например, от К. Фосслера, не был враждебен новому этапу.

Стоит сказать и об отношении А. Мейе к традиции В. Фон Гумбольдта. В одном месте книги он, не называя это имя, обращается к его идеям: «Язык, как когда-то было высказано, не вещь, *érûov*, а деятельность, *evérueia*» (52–53). Об этом сказано в связи с вопросом об освоении языка ребенком (по той же причине обратился к В. Фон Гумбольдту и Н. Хомский). Как известно, у Ф. де Соссюра как раз здесь точка зрения иная: язык – не деятельность, весь этот аспект относится к речи. Еще раз о языке как деятельности с упоминанием имени Гумбольдта – на с. 451. Но в целом гумбольдтовская традиция мало отражена у А. Мейе, как и у большинства его современников.

Хотя книга А. Мейе действительно не является «сочинением по общей лингвистике», но в ней по ходу дела не раз затрагиваются общие проблемы синхронии и диахронии, и не раз высказанные идеи оказывались перспективными. Например, сейчас часто используется понятие грамматикализации. Автор книги пишет: «Выразительное значение слов вследствие употребления ослабляется, их сила уменьшается, и они стремятся образовывать группы... Слова, первоначально самостоятельные, путем употребления низводятся на степень грамматических элементов... В настоящее время три первоначально самостоятельных (латинских. – В.А.) слова (*ego*, *habeo* и *factum*), которые дали в результате фр. *j'ai fait*, составляют лишь одну грамматическую форму, равносильную латинскому *feci* и не имеющую больше выразительной силы. Слова, которые таким путем становятся простыми грамматическими элементами, привесками предложения, произносятся особым образом, часто укорачиваются и в своем фонетическом развитии отличаются от главных слов» (54–55). Понятие грамматикализации активно используется в современной лингвистике, особенно в типологии. Как отмечается в современных работах, сам этот термин восходит к А. Мейе [Плунгян 2000: 232]. Правда, у В.А. Плунгяна и др. речь идет о другой его работе «Эволюция грамматических форм», но и в книге, хотя сам термин не встречается, но, как видно из приведенной цитаты, речь идет именно об этом. Можно отметить и выделение у А. Мейе «нулевых окончаний» (167), изучение до Н.С. Трубецкого законов конца слова (158) и др. А в исследовании закономерностей развития языков все большую роль сейчас играет понятие языкового сдвига, которое фактически рассматривается А. Мейе, когда он говорит о смене языка языковым коллективом (57–60, 69).

Книга А. Мейе не посвящена вопросам типологии (время ее написания, пожалуй, стало периодом наибольшего кризиса типологических исследований), однако весьма любопытны содержащиеся в ней рассуждения о типологических характеристиках индоевропейского праязыка. Точнее, в данном месте книги «индоевропейский язык» может подменяться древнегреческим или латинским, но это в рассматриваемом здесь аспекте не так существенно.

А. Мейе пишет: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен. Слово являлось в нем лишь в сочетании со словоизменительными элементами: во французском языке есть лишь слово *piéd* “нога”, а в индоевропейском были лишь именит. падеж единств. ч. **pōts...*, родит.-отложит. единств. ч. **pedé/ōs*, именит п. множеств. ч. **pódes* и т. д. Иначе говоря, “слово” со значением “нога” не выступало отчетливо... В латинском языке для значения «волк» нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus*, *lupe*, *lupum*, *lupī*, *lupō*, *lupōs*, *lupōrum*, *lupīs*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием» (426–427). Мейе отмечал и то, что «все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше – другие позже, обнаружили склонность упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» (427).

Р.О. Шор по этому поводу справедливо отмечает: «Как понимание структуры отдельного слова., так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка – языка синтетического строя – тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка – языка аналитического строя... В этом нетрудно убедиться, сопоставляя русские переводы с греческими примерами в этой части книги» (500); см. также (496).

А. Мейе, разумеется, знал, что в славянских языках «сохранилось богатое склонение» (437), но явно исходил из представлений носителей французского языка, для которых словоизменение – «крайне сложный» и «неясный» прием. Для французских читателей описываемый морфологический тип требовал специальных пояснений, характеризовался как «чрезвычайно своеобразный» и связывался с «неясностью» выражения значений. Упразднение склонения и спряжения, якобы происходившее во всех индоевропейских языках, трактуется как естественное явление.

Как известно, европейская лингвистическая традиция первоначально основывалась на представлениях носителей как раз «чрезвычайно своеобразного», по А. Мейе, строя, что отразилось в традиционных понятиях склонения и спряжения: соответствующие явления рассматривались не как присоединение аффикса к основе, а как изменение целого слова. В терминологии Р.Х. Робинса, это модель «слово – парадигма» в противовес модели «морфема – слово», появившейся в Европе лишь в XVI в. [Робинс 2010: 48]. Когда сформировалась русская традиция, в ней ввиду сходного строя эта модель хорошо прижилась, даже несмотря на появление в ней также и понятий корня и аффикса. Русская лингвистическая традиция XIX–XX вв., выработавшая понятия формы слова, грамматической оформленности, цельнооформленности, словоформы и т.д., исходила из представления о языке синтетического строя как эталоне. Но французская традиция, исходно такая же, по мере перехода от латинского к французскому эталону резко изменилась, что можно видеть из формулировок А. Мейе. Их можно сопоставить с подходом Ш. Балли, разделившего традиционное слово на две единицы: семантему – лексическую единицу и синтаксическую молекулу – минимальную единицу синтаксиса. Согласно Ш. Балли во французском языке семантема вроде того же *ried* самостоятельна и не требует никаких окончаний, а языки вроде латинского «топят семантему в молекуле», добавляя к ней окончания [Балли 1955: 315–316]. А. Мейе указывает, что не только слово, но и основа «выражает понятие» (170), тогда как А.И. Смирницкий отказывался считать лексической единицей основу слова, поскольку основа вроде *окн-* – «обрубок» [Смирницкий 1955: 14]. То есть для лингвиста – носителя русского языка «оформленность» слова – норма, а для лингвиста – носителя французского языка «оформленное» слово – «чрезвычайно своеобразная» особенность отдельных языков (для А. Мейе, древних индоевропейских). Итак, в книге отразились как значительные типологические различия между синтетическими и аналитическими языками (даже принадлежащими к одной индоевропейской семье), так и различия между национальными лингвистическими традициями, в том числе в понимании слова.

Наконец, книга А. Мейе представляет интерес и как исследование по истории лингвистики. Помимо краткого, но содержательного очерка истории компаративистики XIX в. и начала XX в., книга содержит и ряд более общих идей. Очень существенно замечание о том, что «греки могли наблюдать и описать языки, впоследствии исчезнувшие бесследно или же сильно изменившиеся в дальнейшем», «но у греков не было и мысли о том, что все эти варварские наречия представляли формы... языка, близкого к их языку... Единственным языком, ими изучавшимся, был язык их народа» (445). А. Мейе здесь указывает на то, как могут быть различны культурно обусловленные точки зрения на один и тот же предмет. Для древних греков существовала пропасть между «бормотанием варваров» и единственным настоящим человеческим языком, а для современного лингвиста это все – языки индоевропейской семьи, и отсутствие данных по многим из них – невосполнимая утрата. Любопытно и сопоставление компаративистики с классической филологией, которая до середины XIX в. «сопротивлялась новому направлению», то есть сравнительно-историческому языкознанию; и во време-

на А. Мейе (вероятно, и сейчас) «многие классические филологи не знают сравнительной грамматики, а если и пытаются ею овладеть, то плохо справляются с ее методом» (453). Очень четка и точна сравнительная характеристика Ф. Боппа и В. фон Гумбольдта: «Бопп пренебрегал общими идеями, предпочитая выяснять точные подробности, Вильгельм фон Гумбольдт, наоборот, в своих сочинениях излагал почти исключительно общие идеи» (451).

Отмечу, что среди упоминаемых А. Мейе лингвистов есть и русские. Особенно много сказано о Ф.Ф. Фортунатове, который высоко оценивается не только как славист, но и как индоевропеист, подтвердивший, в частности, идеи книги Ф. де Соссюра 1878 г. (463). В историческом очерке упомянуты также И.А. Бодуэн де Куртенэ (опять-таки без упоминания его критики родословного древа), Г.К. Ульянов, С.М. Кульбакин. А среди многих фамилий лингвистов других стран присутствует и Л. Блумфилд, упомянута и его книга «Язык» (473).

Подводя итоги, можно сказать, что книга А. Мейе хорошо отразила этап развития мировой науки о языке, непосредственно предшествовавший ее повороту в сторону синхронии (этот поворот упомянут, но не мог в силу тематики книги отразиться в ее основной части). Лингвистика того времени достигла больших успехов в одной, как мы сейчас понимаем, очень узкой области: в реконструкции не отраженных непосредственно в текстах праязыковых состояний и в выявлении исторических путей развития от праязыков до известных нам языков. Реально эта область была еще уже: за весь XIX в. наука почти не вышла за пределы индоевропейской семьи. В книге отражены основные черты сравнительно-исторического языкознания того времени. Оно обладало очень строгим методом и гораздо менее богатой теорией. Оно многого добилось в исторической фонетике и не выработало строгие методы в синтаксисе и семантике. Выдвинув очень жесткие методологические требования (А. Мейе, пожалуй, заходил здесь дальше большинства ученых), оно далеко не всегда соблюдало их на практике. От каких-то проблем, которые не решались, наука не без сожаления отказалась (происхождение языка, строй «первобытных языков»), но какие-то проблемы упорно продолжали обсуждать, несмотря на отсутствие строгого метода для их решения (синтаксис и семантика праязыка, культура его носителей, строй языка более древнего, чем праиндоевропейский). Какие-то области отставали, а где-то прорывались далеко вперед без обеспеченности тылами: масса усилий была потрачена на реконструкцию индоевропейского праязыка, хотя праязыки для отдельных групп этой семьи в большинстве не были восстановлены. Поэтому в книге А. Мейе немало логических неувязок и противоречий, но они отражали живое развитие науки того времени. И индоевропеистика была одним из величайших достижений гуманитарных наук XIX в.; и сейчас, когда теоретические споры и прорывы в основном переместились в другие области лингвистики, она продолжает развиваться и получать новые результаты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 2006 – В.М. Алпатов. Компаративистика, ее критики и герои // Вопросы филологии. 2006. № 2.
- Балли 1955 – Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.
- Беликов 2006 – В.И. Беликов. Конвергентные процессы в лингвогенезе: Дис. ... докт. филол. наук. М., 2006.
- Зализняк 1977 – А.А. Зализняк. О «Мемуаре» Ф. де Соссюра // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Плунгян 2000 – В.А. Плунгян. Общая морфология. М., 2000.
- Робинс 2010 – Р.Х. Робинс. Краткая история языкознания. М., 2010.
- Смирницкий 1955 – А.И. Смирницкий. Лексическое и грамматическое в слове // Вопросы грамматического строя. М., 1955.
- Холодович 1977 – А.А. Холодович. О «Курсе общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра // Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.
- Шор 1931 – Р.О. Шор. Языковедение // БСЭ. Т. 65. М., 1931.